SHOUT
SHARE
IT

- Глеб Струве

# Глеб Струве
# Тихий ад. О поэзии Ходасевича *)

*Возстает мой тихий ад*
*В стройности первоначальной.*

«Собрание стихов» Владислава Ходасевича составилось из двух его последних книг — «Путем зерна» (1920) и «Тяжелая лира» (1923), к которым автор присоединил под общим названием «Европейская ночь» стихи последних лет (1923 — 27). Мы можем быть только благодарны автору за то, что он собрал воедино все свои зрелые стихи: таким образом выростает перед нами цельная и интересная поэтическая личность, к которой стоит внимательно присмотреться.

Я не буду останавливаться сейчас подробно на поэтическом мастерстве Ходасевича: это мастерство высокой и полноценной марки. В нем в своеобразной индивидуальной форме претворились лучшие традиции русской классической поэзии — поэзии Пушкина, Баратынскаго, Тютчева: их четкость, их прозрачность, их бережное отношение со словом, их насыщенность мыслью. Последнее свойство делает Ходасевича особенно близким в известном отношении к Баратынскому и Тютчеву: как и они, Ходасевич — «умный» поэт. Для Ходасевича, вне всякаго сомнения, логическая стихия слова первенствует над звуковой. Он сам это четко выразил в стихотворении «Жив Бог! Умен, а не заумен», где он сравнивает себя — поэта — с «непоблажливым игумном» а стихи свои — со «смиренными чернецами»:

…Умен, а не заумен,
Хожу среди своих стихов,
Как непоблажливый игумен
Среди смиренных чернецов.
Ходасевич любит
… из рода в род мне данный
Мой человеческий язык.

Он любит и его «суровую свободу», и его «извилистый закон» и мечтает:

О если б мой предсмертный стон
Облечь в отчетливую лиру!

Этим Ходасевич совершенно чужд Блоку — поэту-певцу,

одержимому — и близок (но только этим Гумилеву (Блок и Гумилев — характерныя полярности в русской поэзии последних десятилетий).

Но подчинение звуковой стихии — логической, обуздание словесных возможностей суровыми законами языка и смысла отнюдь не мешает тому, что стихи Ходасевича поражают изысканностью поэтических приемов, богатством словесной инструментовки, высоким качеством мастерства.

Этим общим суждением я ограничу разбор поэтической техники Ходасевича: он заслуживал бы отдельной статьи. Перейду к содержанию его поэзии.

* * *

Два основных мотива пронизывает всю поэзию Ходасевича: мотив раздвоения души и тела и мотив смерти. Причем, если брать поэзию Ходасевича в ея развитии во времени, мы заметим последовательное и параллельное наростание этих мотивов. Мотив раздвоения «я», развиваясь, переходит в тему полнаго раздробления, почти небытия личности, сливаясь с мотивом смерти, который обростает побочной темой прижизненнаго тления и становится доминирующим, заслоняет все другие.

Мотив разлада души и тела… Не можем ему не верить, когда он разсказывает нам, как

. . Самого себя
Увидел я в тот миг, как этот берег;
Увидел вдруг со стороны, как еслиб
Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
Закинув ногу на ногу, глубоко
Уйдя в диван, с потухшей папиросой
Меж пальцами, совсем худой и бледный.
Глаза открыты были, но какое
В них было выраженье — я не видел
(«Эпизод»)

Это самолицезрение продолжалось всего мгновенье —

. . вероятно,
И четверти положеннаго круга
Секундная не обежала стрелка.

И поэт так же не по своей воле возвратился в покинутую им оболочку —

. . Но только свершилось это тягостно, с усильем,
Которое мне вспомнить неприятно.

В другом стихотворении из «Путем зерна» повторяется этот

мотив:

. . Я смотрю как бы обратным взором
В себя
И так пленительна души живая влага,
Что, как Нарцисс, я с берега земного
Срываюсь и лечу туда, где я один,
В моем родном, первоначальном мире,
Лицом к лицу с собой, потерянном когда-то
И обретенном вновь…

В «Тяжелой лире» этот мотив углубляется, обобщается и звучит все настойчивее. Поэт разговаривает со своей душой — «Психеей бедной» — как с неким особым и отдельным существом, вне его живущим предметом его любви.

Тема любви почти только в этой форме — влюбленности поэта в свою Психею — и встречается в стихах Ходасевича.

Душа мой! Любовь моя!

обращается он к своей Психее.

Легкая моя, падучая,
Милая моя душа! —

называет он ее в замечательном стихотворении, где «ощущение кручи» — ночного пробуждения — падения — великолепно передано ритмическим рисунком и перебойными женско-дактилическими рифмами («почему-то — откуда-то», «только — столика», «кручи — падучая»). Душе поэта «невнятен» «стон (его) страстей». Как йод раз'едает пробку, так

… и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

Но если душе невнятен стон земных страстей, то не нужно ей и «ни утешений, ни услад». Она

Глядит безстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.
Не нужен ей и сам ея носитель:
И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкскаго сада

Бредет в ничтожестве своем.

Именно из этого разлада, из этой раздвоенности возникает сознание ничтожности мира и человека, презрение к тому и другому. Жизнь скучна, а человек ничтожен — на все лады повторяет Ходасевич.

А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли? —

восклицает поэт.
В другом месте он говорит:
Лучше спать, чем слушать речи
**Злобной жизни человечьей,**
Малых правд пустую прю

Люди для него — «бесы юркие» жизнь человеческая — блистательная кутерьма, «дурные сны», «серенькая ночка», «тихий ад», в котором душе ничего не надо:

Мне каждый звук терзает слух
И каждый луч глазам несносен.

Это по новому и с гораздо большей остротой и правдоподобностью выраженное Гумилевское (у Гумилева оно было мимолетное) «презрение к миру и усталость слов» порождает непреодолимое желание нарушить равновесие этого «тихаго ада», разстроить скучный мировой порядок, **метафизически набедокурить**, если можно так выразиться. И поэт все с той же правдивостью самообнажения, доходящей до цинизма, признается:

Все жду, кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бедный окровавит
Торцовую сухую пыль.
И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется
И станет горькою вода.

Прорвутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,

Как утром — лишнюю свечу.

Это страшное жуткое стихотворение особенно жутко потому, что мы до конца верим поэту: мы знаем, что он именно этого хочет, об этом томится, ибо не верит он в «красоту земную» и не хочет «здешней правды», зная, что

Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом…

Себя поэт презирает и безпощадно сравнивает с червяком:

Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам
. . .
Дневным сиянием об'ятый,
Один беззвездный вижу мрак…
Так вьется на гряде червяк…
Разсечен тяжелою лопатой.

Жизнь это — «косная, нищая скудость». Понятно поэтому, что

Ни жить, ни петь почти не стоит.

* * *

Из такого отношения к миру выростает у поэта мотив смерти. У Ходасевича это даже не предчувствие смерти, а уже «горькое предсмертье».

Смерть для него — обыденное, близкое, свое:

… Уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.

Смерть — «долгожданный гость», она близко вот тут, у ворот:

Не странно-ль жить, почти что осязая,
**Как ты близка**?

И дальше:

Еще томят земныя разстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознанье,
**Что ты близка**.

Поэт ощущает себя «яблонью, отягощенною плодами» и

говорит:

И не постигнуть, юным, вам,
**Всей нежности неодолимой,**

**С какою хочется ветвям**

**Коснуться вновь земли родимой.**

Уже в этом «горьком предсмертье» наступает тление, то «дыхание распада», которое Люцифер — «первый дачник на расцветающей земле» — «в долину мирных райских роз… на крыльях дымчатых принес» и про которое Ходасевич, противопоставляя его мирной сельской жизни с ея «простыми затеями», где

… радуга высоким сводом
Церковный покрывает крест
И каждый праздник по приходам
Справляют ярмарку невест —
говорит
А я росистыя поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащем,
И к девушкам, румяным розам,
Склоняюсь томною главой,
Дышу на них туберкулезом,
И вдохновеньем, и Невой.

* * *

До сих пор я цитировал стихи почти исключительно из «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», т. е. стихи 1914 — 22 гг. В последних стихах Ходасевича, в «Европейской ночи»(1923 — 27) все его основныя темы получают предельное воплощение и заострение. Если раньше мы видели раздвоение «я» поэта, теперь это «я» — по крайней мере, в мечтах поэта — раздробляется на множество частиц. Поэту в этой жизни «дороже всех гармонических красот» —

Дрожь, пробежавшая по коже,
Иль ужаса холодный поэт,
Иль сон, где некогда единый, —
Взрываясь, **разлетаюсь я,**

**Как грязь, разбрызганная шиной**

**По чуждым сферам бытия.**

Отсюда недалеко до того, чтобы воскликнуть — может быть, с затаенным ужасом, с болью — что «я» вообще нет:

Я, я, я. Что за дикое слово!?
Неужели но тот — это я?
Разве мама любила такого,
Желтосераго, полуседого,
И всезнающаго как змея?

Кстати, это змеиное всезнание еще раньше отчетливо ощущалось поэтом как неот'емлемый аттрибут жизннаго роста. Он не раз говорит о своих «пресыщенных глазах», повторяет:

Все я знаю, все я вижу (стр. 86)
Я много знаю, много вижу (88)

Для распыленнаго, всезнающаго и многомудраго «я» конкретный мир, как он есть, предстает какой-то страшной, жуткой карикатурой, каким-то беспросветным уродством, где «все высвистано, пробачено», где обитают «уродики, уродища, уроды», где — сплошная «ночная гнилость». «Все каменное» — в этом мире, в изображении котораго Ходасевич сочетает жуткий, цинический реализм с какой-то страшной фантастикой, напоминая и тем и другим Бодлэра («Окна во двор», «Под землей», «An Mariechen», «Берлинское», «Дачное», «Баллада», «У моря», «Звезды»). Олицетворение этого мира — модернизированный и опошленный Каин «с экземою между бровей», в широкополом канотье и с желтыми зубами (цикл «У моря»).

В этом уродливом мире, отраженном и искаженном в безчисленных осколках расколовшейся души, поэту не мило ничто: ему претит от истин и красот», его не радует «человечий гений», который «все бьется… то вверх, то вниз», ему «тяжко» и «больно» жить душою в творениях художников, и после прогулки по музею его утешает лишь мысль

… что в аптеке
Есть кисленький пирамидон.

Люди для него, с их «непреложным законом» и «заповедным смиреньем» — только жалкие «пузырьки в сифоне», и ему хочется

ударить по миру кулаком или сойти с ума, когда он встречает безрукаго с беременной женой в синема — в этом образе для Ходасевича воплощается жалкая людская пошлость. И он не выносит:

Ременный бич я достаю
С протяжным окриком тогда
И ангелов наотмашь бью,
И ангелы сквозь провода
Взлетают в городскую высь.

Иногда кажется, что для Ходасевича весь Божий мир отражается в «грошевом казино», где

… под двуспальные напевы
На полинялый небосвод
Ведут сомнительные девы
Свой непотребный хоровод.

* * *

Ходасевич не приемлет мира, его гармонии, его мнимой устроенности (в этом он внутренно глубоко чужд и Пушкину, и Тютчеву и, пожалуй, даже Баратынскому). Но его устремленность к духу — лишь тщетная устремленность, не окончательное достижение. Как мы уже видели, духом не стать — «пока вся кровь не выступит из пор».

В минуту творческаго вдохновения пошлый мир может вдруг стать «прозрачен как стекло», но

… ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем подневольным.

И за стеклом вдруг с отвращением узнает поэт

Отрубленную, неживую,
Ночную голову мою.

Стихи «Европейской ночи», по строению резко отличные от стихов «Тяжелой лиры» — те гораздо ровней, размеренней, эти отрывисты, перебойны, почти судорожны в своем ритме — таят себе и глубокое внутреннее отличие. Устремленный к духовному, поэт, отчаявшись «прободать прозрачную, но прочную плеву»,

обратился вновь к миру, но не с тем чтобы принять его, а чтобы еще пуще его заклеймить, избичевать, обрушить на него всю свою злобу и ненависть. Поэзия «Европейской ночи» — страшная и жуткая — это подлинная поэзия разложения, распада, тления. Поэт клеймит пошлость мира, но вместе с тем с каким-то сладострастием в ней купается. Он вожделеет распада, ибо путь распада, путь тления — это путь к духу. В тлении он черпает вдохновение. В одном из последних стихотворений Ходасевича, уже не вошедшем в сборник, но всецело примыкающем к «Европейской ночи» (оно напечатано в кн. XXXIV «Совр. Записок») об этом сказано очень ясно:

Когда в душе все чистое мертво,
Здесь, где **разит скотством и тленьем**,
Живит меня заклятым вдохновеньем
Дыханье века моего.

Но не есть ли эта **поэзия разложения** начало **разложения поэзии**? Не зашел ли поэт в духовно-поэтический тупик, из котораго он не найдет выхода, пока не сбросит «личины низкой и ехидной», которую по собственному слову носит, пока не взглянет на мир иными глазами? Ибо не тот ли только поэт, кто, по слову Гумилева, «любит мир и верит в Бога», и не в этом ли тот заветный Ходасевичевский «утешный ключ», который один спасает от двуединой соблазнительной язвы порока и смерти и превращает «тихий ад», в «невероятный Божий подарок»?

*) В. Ходасевич. Собрание стихов. Кн-во «Возрождение». Париж 1927. Стр. 183.

Глеб Струве

Глеб Струве. Тихий ад. О поэзии Ходасевича // За Свободу! 1928. № 59 (2391), 11 марта. С. 6.

Павел Лавринец (Вильнюс), 2010.
Версия с модернизированной орфографией.
Публикация © Русские творческие ресурсы Балтии, 2010.